

ЛЕВ
ТОЛСТОЙ

ОТРОЧЕСТВО

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ. ТОМ 2

Весь Толстой в один клик

Лев Толстой

**Полное собрание сочинений.
Том 2. Отрочество**

«Библиотечный фонд»

1854

Толстой Л. Н.

Полное собрание сочинений. Том 2. Отрочество /
Л. Н. Толстой — «Библиотечный фонд», 1854 — (Весь Толстой в
один клик)

Содержание

Лев Николаевич Толстой. Отрочество.	5
Предисловие к электронному изданию	6
Фототипия с фотографического портрета Толстого 1855 (?) г. (размер подлинника) между XII и 1 стр.	7
ГЛАВА I. ПОЕЗДКА НА ДОЛГИХ.	8
ГЛАВА II. ГРОЗА.	12
ГЛАВА III. НОВЫЙ ВЗГЛЯД.	15
ГЛАВА IV. В МОСКВЕ.	18
ГЛАВА V. СТАРШИЙ БРАТ.	19
ГЛАВА VI. МАША.	21
ГЛАВА VII. ДРОБЬ.	23
ГЛАВА VIII. ИСТОРИЯ КАРЛА ИВАНЫЧА.	25
ГЛАВА IX. ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРЕДЫДУЩЕЙ.	27
Конец ознакомительного фрагмента.	28

Лев Николаевич Толстой. Отрочество.

Государственное издательство «Художественная литература»
Москва – 1935

Электронное издание осуществлено в рамках краудсорсингового проекта [«Весь Толстой в один клик»](#).

Организаторы:

[Государственный музей Л.Н. Толстого](#)

[Музей-усадьба «Ясная Поляна»](#)

[Компания АБВУУ](#)

Подготовлено на основе электронной копии 2-го тома Полного собрания сочинений Л.Н. Толстого, предоставленной Российской государственной библиотекой

Электронное издание 90-томного собрания сочинений Л.Н. Толстого доступно на портале www.tolstoy.ru

Предисловие и редакционные пояснения к 2-му тому Полного собрания сочинений Л.Н. Толстого включены в настоящее издание

Если Вы нашли ошибку, пожалуйста, напишите нам info@tolstoy.ru

Перепечатка разрешается безвозмездно

—

Reproduction libre pour tous les pays.

Предисловие к электронному изданию

Настоящее издание представляет собой электронную версию 90-томного собрания сочинений Льва Николаевича Толстого, вышедшего в свет в 1928—1958 гг. Это уникальное академическое издание, самое полное собрание наследия Л.Н. Толстого, давно стало библиографической редкостью. В 2006 году музей-усадьба «Ясная Поляна» в сотрудничестве с Российской государственной библиотекой и при поддержке фонда Э. Меллона и *координации* Британского совета осуществили сканирование всех 90 томов издания. Однако для того чтобы пользоваться всеми преимуществами электронной версии (чтение на современных устройствах, возможность работы с текстом), предстояло еще распознать более 46 000 страниц. Для этого Государственный музей Л.Н. Толстого, музей-усадьба «Ясная Поляна» вместе с партнером – компанией АBBYY, открыли проект «Весь Толстой в один клик». На сайте readingtolstoy.ru к проекту присоединились более трех тысяч волонтеров, которые с помощью программы АBBYY FineReader распознавали текст и исправляли ошибки. Буквально за десять дней прошел первый этап сверки, еще за два месяца – второй. После третьего этапа корректуры *тома и отдельные произведения* публикуются в электронном виде на сайте tolstoy.ru.

В издании сохраняется орфография и пунктуация печатной версии 90-томного собрания сочинений Л.Н. Толстого.

*Руководитель проекта «Весь Толстой в один клик»
Фекла Толстая*

**Фототипия с фотографического портрета Толстого
1855 (?) г. (размер подлинника) между XII и 1 стр.**



Л. Н. ТОЛСТОЙ
1855 (?) г.

ГЛАВА I. ПОЕЗДКА НА ДОЛГИХ.

Снова поданы два экипажа к крыльцу Петровского дома; один – карета, в которую садятся Мими, Катенька, Любочка, горничная и *сам* приказчик Яков, на козлах; другой – бричка, в которой едем мы с Володей и недавно взятый с оброка лакей Василий.

Папа, который несколько дней после нас должен тоже приехать в Москву, без шапки стоит на крыльце и крестит окно кареты и бричку.

«Ну Христос с вами! трогай!» Яков и кучера (мы едем на своих) снимают шапки и крестятся. «Но, но! с Богом!» Кузов кареты и бричка начинают подпрыгивать по неровной дороге, и березы большой аллеи, одна за другой, бегут мимо нас. Мне несколько не грустно: умственный взор мой обращен не на то, что я оставляю, а на то, что ожидает меня. По мере удаления от предметов, связанных с тяжелыми воспоминаниями, наполнявшими до сей поры мое воображение, воспоминания эти теряют свою силу и быстро заменяются отрадным чувством сознания жизни, полной силы, свежести и надежды.

Редко провел я несколько дней – не скажу весело: мне еще как-то совестно было предаваться веселью – но так приятно, хорошо, как четыре дня нашего путешествия. У меня перед глазами не было ни затворенной двери комнаты матушки, мимо которой я не мог проходить без содрогания, ни закрытого рояля, к которому не только не подходили, но на который и смотрели с какою-то боязнью, ни траурных одежд (на всех нас были простые дорожные платья), ни всех тех вещей, которые, живо напоминая мне невозвратимую потерю, заставляли меня остерегаться каждого проявления жизни из страха оскорбить как-нибудь *ее* память. Здесь, напротив, беспрестанно новые живописные места и предметы останавливают и развлекают мое внимание, а весенняя природа вселяет в душу отрадные чувства – довольства настоящим и светлой надежды на будущее.

Рано, рано утром безжалостный и, как всегда бывают люди в новой должности, слишком усердный Василий сдергивает одеяло и уверяет, что пора ехать и всё уже готово. Как ни жмешься, ни хитришь, ни сердисься, чтобы хоть еще на четверть часа продлить сладкий утренний сон, по решительному лицу Василья видишь, что он неумолим и готов еще двадцать раз сдернуть одеяло, вскакиваешь и бежишь на двор умываться.

В сенях уже кипит самовар, который, раскрасневшись, как рак, раздувает Митька фореитор: на дворе сыро и туманно, как будто пар подымается от пахучего навоза; солнышко веселым, ярким светом освещает восточную часть неба и соломенные крыши просторных навесов, окружающих двор, глянцевиные от росы, покрывающей их. Под ними виднеются наши лошади, привязанные около кормяг, и слышно их мерное жевание. Какая-нибудь мохнатая Жучка, прикорнувшая перед зарей на сухой куче навоза, лениво потягивается и, помахивая хвостом, мелкой рысцей отправляется в другую сторону двора. Хлопотунья хозяйка отворяет скрипящие ворота, выгоняет задумчивых коров на улицу, по которой уже слышны топот, мычание и блеяние стада, и перекидывается словечком с сонной соседкой. Филипп, с засученными рукавами рубашки, вытягивает колесом бадью из глубокого колодца, плеская светлую воду, выливает ее в дубовую колоду, около которой в луже уже полощутся проснувшиеся утки; и я с удовольствием смотрю на значительное, с окладистой бородой, лицо Филиппа и на толстые жилы и мускулы, которые резко обозначаются на его голых мощных руках, когда он делает какое-нибудь усилие.

За перегородкой, где спала Мими с девочками, и из-за которой мы переговаривались вечером, слышно движенье. Маша с различными предметами, которые она платьем старается скрыть от нашего любопытства, чаще и чаще перебегает мимо нас, наконец, отворяется дверь, и нас зовут пить чай.

Василий, в припадке излишнего усердия, беспрестанно вбегает в комнату, выносит то то, то другое, подмигивает нам и всячески упрасивает Марию Ивановну выезжать ранее. Лошади

заложены и выражают свое нетерпение, изредка побрякивая бубенчиками; чемоданы, сундуки, шкатулки и шкатулочки снова укладываются, и мы садимся по местам. Но каждый раз в бричке мы находим гору вместо сидения, так что никак не можем понять, как всё это было уложено накануне и как теперь мы будем сидеть; особенно один ореховый чайный ящик с треугольной крышкой, который отдают к нам в бричку и ставят под меня, приводит меня в сильнейшее негодование. Но Василий говорит, что это обомнется, и я принужден верить ему.

Солнце только-что поднялось над сплошным белым облаком, покрывающим восток, и вся окрестность озарилась спокойно-радостным светом. Всё так прекрасно вокруг меня, а на душе так легко и спокойно.... Дорога широкой, дикой лентой вьется впереди, между полями засохшего жнивья и блестящей росой зелени; кое-где при дороге попадается угрюмая ракета, или молодая березка с мелкими клейкими листьями, бросая длинную неподвижную тень на засохшие глинистые колеи и мелкую зеленую траву дороги.... Однообразный шум колес и бубенчиков не заглушает песен жаворонков, которые вьются около самой дороги. Запах съеденного молью сукна, пыли и какой-то кислоты, которым отличается наша бричка, покрывается запахом утра, и я чувствую в душе отрадное беспокойство, желание что-то сделать – признак истинного наслаждения.

Я не успел помолиться на постоялом дворе; но так как уже не раз замечено мною, что в тот день, в который я, по каким-нибудь обстоятельствам, забываю исполнить этот обряд, со мною случается какое-нибудь несчастье, я стараюсь исправить свою ошибку: снимаю фуражку, поворачиваясь в угол брички, читаю молитвы и крещусь под курточкой так, чтобы никто не видал этого. Но тысячи различных предметов отвлекают мое внимание, и я несколько раз сряду в рассеянности повторяю одни и те же слова молитвы.

Вот на пешеходной тропинке, вьющейся около дороги, виднеются какие-то медленно движущиеся фигуры: это богомолки. Головы их закутаны грязными платками, за спинами берестовые котомки, ноги обмотаны грязными, оборванными онучами и обуты в тяжелые лапти. Равномерно размахивая палками и едва оглядываясь на нас, они медленным тяжелым шагом подвигаются вперед одна за другою, и меня занимают вопросы: куда, зачем они идут? долго ли продолжится их путешествие, и скоро ли длинные тени, которые они бросают на дорогу, соединятся с тенью ракиты, мимо которой они должны пройти. Вот коляска, четверкой, на почтовых быстро несется навстречу. Две секунды, и лица, на расстоянии двух аршин приветливо, любопытно смотревшие на нас, уже промелькнули, и как-то странно кажется, что эти лица не имеют со мной ничего общего, и что их никогда, может быть, не увидишь больше.

Вот стороной дороги бегут две потные, косматые лошади в хомутах с захлестнутыми за шлеи постромками, и сзади, свесив длинные ноги в больших сапогах по обеим сторонам лошади, у которой на холке висит дуга и изредка чуть слышно побрякивает колокольчиком, едет молодой парень ямщик и, сбив на одно ухо поярковую шляпу, тянет какую-то протяжную песню. Лицо и поза его выражают так много ленивого, беспечного довольства, что мне кажется, верх счастья быть ямщиком, ездить обратным и петь грустные песни. Вон далеко за оврагом виднеется на светло-голубом небе деревенская церковь с зеленой крышей; вон село, красная крыша барского дома и зеленый сад. Кто живет в этом доме? есть ли в нем дети, отец, мать, учитель? Отчего бы нам не поехать в этот дом и не познакомиться с хозяевами? Вот длинный обоз огромных возов, запряженных тройками сытых толстоногих лошадей, который мы принуждены объезжать стороной. «Что везете?» спрашивает Василий у первого извозчика, который, спустив огромные ноги с грядок и помахивая кнутиком, долго пристально-бессмысленным взором следит за нами и отвечает что-то только тогда, когда его невозможно слышать. «С каким товаром?» обращается Василий к другому возу, на огороженном передке которого, под новой рогожей, лежит другой извозчик. Русая голова с красным лицом и рыжеватой бородкой на минуту высовывается из-под рогожи, равнодушно-презрительным взглядом окидывает

нашу бричку и снова скрывается – и мне приходят мысли, что верно эти извозчики не знают, кто мы такие и откуда и куда едем?...

Часа полтора углубленный в разнообразные наблюдения, я не обращаю внимания на кривые цифры, выставленные на верстах. Но вот солнце начинает жарче печь мне голову и спину, дорога становится пыльнее, треугольная крышка чайницы начинает сильно беспокоить меня, я несколько раз переменяю положение: мне становится жарко, неловко и скучно. Всё мое внимание обращается на верстовые столбы и на цифры, выставленные на них; я делаю различные математические вычисления насчет времени, в которое мы можем приехать на станцию. «Двенадцать верст составляют треть тридцати шести, а до Липец сорок одна, следовательно мы проехали одну треть и сколько?» и т. д.

– Василий, – говорю я, когда замечаю, что он начинает *удить рыбу* на козлах – пусти меня на козлы, голубчик. – Василий соглашается. Мы переменяемся местами: он тотчас же начинает храпеть и разваливается так, что в бричке уже не остается больше ни для кого места; а передо мной открывается с высоты, которую я занимаю, самая приятная картина: наши четыре лошади, Неручинская, Дьячок, Левая коренная и Аптекарь, все изученные мною до малейших подробностей и оттенков свойств каждой.

– Отчего это нынче Дьячок на правой пристяжке, а не на левой, Филипп? – несколько робко спрашиваю я.

– Дьячок?

– А Неручинская ничего не везет, – говорю я.

– Дьячка нельзя налево впрягать, – говорит Филипп, не обращая внимания на мое последнее замечание: – не такая лошадь, чтоб его на левую пристяжку запрягать. Налево уж нужно такую лошадь, чтоб, одно слово, была лошадь, а это не такая лошадь.

И Филипп с этими словами нагибается на правую сторону и, подергивая вожжой из всех сил, принимается стегать бедного Дьячка по хвосту и по ногам, как-то особенным манером, снизу, и несмотря на то, что Дьячок старается из всех сил и воротит всю бричку, Филипп прекращает этот маневр только тогда, когда чувствует необходимость отдохнуть и сдвинуть неизвестно для чего свою шляпу на один бок, хотя она до этого очень хорошо и плотно сидела на его голове. Я пользуюсь такой счастливой минутой и прошу Филиппа дать мне *поправить*. Филипп дает мне сначала одну вожжу, потом другую; наконец все шесть вожжей и кнут переходят в мои руки, и я совершенно счастлив. Я стараюсь всячески подражать Филиппу, спрашиваю у него, хорошо ли? но обыкновенно кончается тем, что он остается мною недоволен: говорит, что та много везет, а та ничего не везет, высовывает локоть из-за моей груди и отнимает у меня вожжи. Жар всё усиливается, барашки начинают вздуваться, как мыльные пузыри, выше и выше, сходиться и принимать темно-серые тени. В окно кареты высовывается рука с бутылкой и узелком; Василий, с удивительной ловкостью, на ходу соскакивает с козел и приносит нам ватрушек и квасу.

На крутом спуске мы все выходим из экипажей и иногда в перегонки бежим до моста, между тем как Василий и Яков, подтормозив колеса, с обеих сторон руками поддерживают карету, как будто они в состоянии удержать ее, ежели бы она упала. Потом, с позволения Мими, я или Володя отправляемся в карету, а Любочка или Катенька садятся в бричку. Перемещения эти доставляют большое удовольствие девочкам, потому что они справедливо находят, что в бричке гораздо веселей. Иногда во время жара, проезжая через рощу, мы отстаем от кареты, нарываем зеленых веток и устраиваем в бричке беседку. Движущаяся беседка во весь дух догоняет карету, и Любочка пищит при этом самым пронзительным голосом, чего она никогда не забывает делать, при каждом случае, доставляющем ей большое удовольствие.

Но вот и деревня, в которой мы будем обедать и отдыхать. Вот уж запахло деревней – дымом, дегтем, баранками, слышались звуки говора, шагов и колес; бубенчики уже звенят не так, как в чистом поле, и с обеих сторон мелькают избы, с соломенными кровлями, резными

тесовыми крылечками и маленькими окнами с красными и зелеными ставнями, в которые кое-где просовывается лицо любопытной бабы. Вот крестьянские мальчики и девочки в одних рубашонках: широко раскрыв глаза и растопырив руки, неподвижно стоят они на одном месте или, быстро семеня в пыли босыми ножонками, несмотря на угрожающие жесты Филиппа, бегут за экипажами и стараются взобраться на чемоданы, привязанные сзади. Вот и рыжеватые дворники с обеих сторон подбегают к экипажам и привлекательными словами и жестами один перед другим стараются заманить проезжающих. Тпру! ворота скрипят, вальки цепляют за воротница, и мы въезжаем на двор. Четыре часа отдыха и свободы!

ГЛАВА II. ГРОЗА.

Солнце склонялось к западу и косыми жаркими лучами невыносимо жгло мне шею и щеки; невозможно было дотронуться до раскаленных краев брички; густая пыль поднималась по дороге и наполняла воздух. Не было ни малейшего ветерка, который бы относил ее. Впереди нас, на одинаковом расстоянии, мерно покачивался высокий, запыленный кузов кареты с важами, из-за которого виднелся изредка кнут, которым помахивал кучер, его шляпа и фуражка Якова. Я не знал, куда деваться: ни черное от пыли лицо Володи, дремавшего подле меня, ни движения спины Филиппа, ни длинная тень нашей брички, под косым углом бежавшая за нами, не доставляли мне развлечения. Всё мое внимание было обращено на верстовые столбы, которые я замечал издали, и на облака, прежде рассыпанные по небосклону, которые, приняв зловещие, черные тени, теперь собирались в одну большую, мрачную тучу. Изредка погромыхивал дальний гром. Это последнее обстоятельство более всего усиливало мое нетерпение скорее приехать на постоянный двор. Гроза наводила на меня невыразимо тяжелое чувство тоски и страха.

До ближайшей деревни оставалось еще верст десять, а большая темно-лиловая туча, взявшаяся Бог знает откуда, без малейшего ветра, но быстро подвигалась к нам. Солнце, еще не скрытое облаками, ярко освещает ее мрачную фигуру и серые полосы, которые от нее идут до самого горизонта. Изредка, вдалеке, вспыхивает молния, и слышится слабый гул, постепенно усиливающийся, приближающийся и переходящий в прерывистые раскаты, обнимающие весь небосклон. Василий приподнимается с козел и поднимает верх брички; кучера надевают армяки и при каждом ударе грома снимают шапки и крестятся; лошади настораживают уши, раздувают ноздри, как будто принюхиваясь к свежему воздуху, которым пахнет от приближающейся тучи, и бричка скорее катит по пыльной дороге. Мне становится жутко, и я чувствую, как кровь быстрее обращается в моих жилах. Но вот передовые облака уже начинают закрывать солнце; вот оно выглянуло в последний раз, осветило страшно-мрачную сторону горизонта и скрылось. Вся окрестность вдруг изменяется и принимает мрачный характер. Вот задрожала осиновая роща; листья становятся какого-то бело-мутного цвета, ярко выдающегося на лиловом фоне тучи, шумят и вертятся; макушки больших берез начинают раскачиваться, и пучки сухой травы летят через дорогу. Стрижи и белогрудые ласточки, как будто с намерением остановить нас, реют вокруг брички и пролетают под самой грудью лошадей; галки с растрепанными крыльями как-то боком летают по ветру; края кожаного фартука, которым мы застегнулись, начинают подниматься, пропускать к нам порывы влажного ветра и, размахиваясь, биться о кузов брички. Молния вспыхивает как будто в самой бричке, ослепляет зрение и на одно мгновение освещает серое сукно, басон и прижавшуюся к углу фигуру Володи. В ту же секунду над самой головой раздается величественный гул, который, как будто поднимаясь всё выше и выше, шире и шире, по огромной спиральной линии, постепенно усиливается и переходит в оглушительный треск, невольно заставляющий трепетать и сдерживать дыхание. Гнев Божий! как много поэзии в этой простонародной мысли!

Колеса вертятся скорее и скорее; по спинам Василия и Филиппа, который нетерпеливо помахивает вожжами, я замечаю, что и они боятся. Бричка шибко катится под гору и стучит по досчатому мосту; я боюсь пошевелиться и с минуты на минуту ожидаю нашей общей гибели.

Тпру! оторвался валец, и на мосту, несмотря на непрерывные оглушительные удары, мы принуждены остановиться.

Прислонив голову к краю брички, я, с захватывающим дыхание замиранием сердца, безнадежно слежу за движениями толстых черных пальцев Филиппа, который медлительно захлестывает петлю и выравнивает постромки, толкая пристяжную ладонью и кнутовищем.

Тревожные чувства тоски и страха увеличивались во мне вместе с усилением грозы, но когда пришла величественная минута безмолвия, обыкновенно предшествующая разражению грозы, чувства эти дошли до такой степени, что, продолжись это состояние еще четверть часа, я уверен, что умер бы от волнения. В это самое время из-под моста вдруг появляется, в одной грязной дырявой рубахе, какое-то человеческое существо с опухшим бессмысленным лицом, качающейся, ничем не покрытой, обстриженной головой, кривыми безмускульными ногами и с какой-то красной, глянцевиной культяпкой, вместо руки, которую он сует прямо в бричку.

«Ба-а-шка! убо-го-му Хри-ста-ради», звучит болезненный голос, и нищий с каждым словом крестится и кланяется в пояс.

Не могу выразить чувства холодного ужаса, охватившего мою душу в эту минуту. Дрожь пробегала по моим волосам, а глаза с бессмыслием страха были устремлены на нищего...

Василий, в дороге подающий милостыню, дает наставления Филиппу насчет укрепления валька и, только когда всё уже готово, и Филипп, собирая вожжи, лезет на козлы, начинает что-то доставать из бокового кармана. Но только-что мы трогаемся, ослепительная молния, мгновенно наполняя огненным светом всю лощину, заставляет лошадей остановиться и, без малейшего промежутка, сопровождается таким оглушительным треском грома, что кажется, весь свод небес рушится над нами. Ветер еще усиливается: гривы и хвосты лошадей, шинель Василья и края фартука принимают одно направление и отчаянно развеваются от порывов неистового ветра. На кожаный верх брички тяжело упала крупная капля дождя... другая, третья, четвертая, и вдруг как будто кто-то забарабанил над нами, и вся окрестность огласилась равномерным шумом падающего дождя. По движениям локтей Василья, я замечаю, что он развязывает кошелек; нищий, продолжая креститься и кланяться, бежит подле самых колес, так что, того и гляди, раздавят его. «Поддай Хри-ста-ради». Наконец, медный грош летит мимо нас, и жалкое создание, в обтянутом его худые члены, промокшем до нитки рублище, качаясь от ветра, – в недоумении останавливается посреди дороги и исчезает из моих глаз.

Косой дождь, гонимый сильным ветром, лил, как из ведра; с фризовой спины Василья текли потоки в лужу мутной воды, образовавшуюся на фартуке. Сначала сбитая катушками пыль превратилась в жидкую грязь, которую месили колеса, толчки стали меньше, и по глинистым колеям потекли мутные ручьи. Молния светила шире и бледнее, и раскаты грома уже были не так поразительны за равномерным шумом дождя.

Но вот дождь становится мельче; туча начинает разделяться на волнистые облака, светлеть в том месте, в котором должно быть солнце, и сквозь серовато-белые края тучи чуть виднеется клочек ясной лазури. Через минуту робкий луч солнца уже блестит в лужах дороги, на полосах падающего, как сквозь сито, мелкого, прямого дождя и на обмытой, блестящей зелени дорожной травы. Черная туча также грозно застилает противоположную сторону небосклона, но я уже не боюсь ее. Я испытываю невыразимо-отрадное чувство надежды в жизни, быстро заменяющее во мне тяжелое чувство страха. Душа моя улыбается так же, как и освеженная, повеселевшая природа. Василий откидывает воротник шинели, снимает фуражку и отряхивает ее; Володя откидывает фартук; я высовываюсь из брички и жадно впиваю в себя освеженный, душистый воздух. Блестящий, обмытый кузов кареты с важами и чемоданами покачивается перед нами, спины лошадей, шлеи, вожжи, шины колес – всё мокро и блестит на солнце, как покрытое лаком. С одной стороны дороги – необозримое озимое поле, кое-где перерезанное неглубокими овражками, блестит мокрой землею и зеленью и расстилается тенистым ковром до самого горизонта; с другой стороны – осиновая роща, поросшая ореховым и черемушным подседом, как бы в избытке счастья стоит, не шелохнется и медленно роняет с своих обмытых ветвей светлые капли дождя на сухие прошлогодние листья. Со всех сторон вьются с веселой песней и быстро падают хохлатые жаворонки; в мокрых кустах слышно хлопотливое движение маленьких птичек и из середины рощи ясно долетают звуки кукушки. Так обаятелен этот чудный запах леса, после весенней грозы, запах березы, фиалки, прелого листа, сморчков, чере-

мухи, что я не могу усидеть в бричке, соскакиваю с подножки, бегу к кустам и, несмотря на то, что меня осыпает дождевыми каплями, рву мокрые ветки распустившейся черемухи, бью себя ими по лицу и упиваюсь их чудным запахом. Не обращая даже внимания на то, что к сапогам моим липнут огромные комки грязи, и чулки мои давно уже мокры, я, шлепая по грязи, бегу к окну кареты.

– Любочка! Катенька! – кричу я, подавая туда несколько веток черемухи: – посмотри, как хорошо!

Девочки пищат, ахают; Мими кричит, чтобы я ушел, а то меня непременно раздавят.

– Да ты понюхай, как пахнет! – кричу я.

ГЛАВА III. НОВЫЙ ВЗГЛЯД.

Катенька сидела подле меня в бричке и, склонив свою хорошенькую головку, задумчиво следила за убегавшей под колесами пыльной дорогой. Я молча смотрел на нее и удивлялся тому не детски грустному выражению, которое в первый раз встречал на ее розовеньком личике.

– А вот скоро мы и приедем в Москву, – сказал я: – как ты думаешь, какая она?

– Не знаю, – отвечала она нехотя.

– Ну всё-таки как ты думаешь: больше Серпухова или нет?...

– Что?

– Я ничего.

Но по тому инстинктивному чувству, которым один человек угадывает мысли другого, и которое служит путеводною нитью разговора, Катенька поняла, что мне больно ее равнодушие; она подняла голову и обратилась ко мне:

– Папа говорил вам, что мы будем жить у бабушки?

– Говорил; бабушка хочет совсем с нами жить.

– И все будем жить?

– Разумеется; мы будем жить наверху в одной половине; вы в другой половине; а папа во флигеле; а обедать будем все вместе, внизу у бабушки.

– Мамап говорит, что бабушка такая важная – сердитая?

– Не-ет! Это только так кажется сначала. Она важная, но совсем не сердитая; напротив, очень добрая, веселая. Коли бы ты видела, какой бал был в ее именины!

– Всё-таки я боюсь ее; да, впрочем, Бог знает, будем ли мы...

Катенька вдруг замолчала и опять задумалась.

– Что-о? – спросил я с беспокойством.

– Ничего, я так.

– Нет, ты что-то сказала: «Бог знает...»

– Так ты говорил, какой был бал у бабушки.

– Да вот жалко, что вас не было; гостей было пропасть, человек тысяча, музыка, генералы, и я танцевал... Катенька! – сказал я вдруг, останавливаясь в середине своего описания: – ты не слушаешь?

– Нет, слышу; ты говорил, что ты танцевал.

– Отчего ты такая скучная?

– Не всегда же веселой быть.

– Нет, ты очень переменилась с тех пор, как мы приехали из Москвы. Скажи, по правде, – прибавил я с решительным видом, поворачиваясь к ней: – отчего ты стала какая-то странная?

– Будто я странная? – отвечала Катенька с одушевлением, которое доказывало, что мое замечание интересовало ее: – я совсем не странная.

– Нет, ты уж не такая, как прежде, – продолжал я: – прежде видно было, что ты во всем с нами за одно, что ты нас считаешь как родными и любишь так же, как и мы тебя, а теперь ты стала такая серьезная, удаляешься от нас...

– Совсем нет....

– Нет, дай мне договорить, – перебил я, уже начиная ощущать легкое щекотанье в носу, предшествующее слезам, которые всегда наворачивались мне на глаза, когда я высказывал давно сдержанную душевную мысль: – ты удаляешься от нас, разговариваешь только с Мими, как будто не хочешь нас знать.

– Да ведь нельзя же всегда оставаться одинаковыми; надобно когда-нибудь и перемениться, – отвечала Катенька, которая имела привычку объяснять всё какую-то фаталистическою необходимостью, когда не знала, что говорить.

Я помню, что раз, поссорившись с Любочкой, которая назвала ее *глупой девочкой*, она отвечала: не всем же умным быть, надо и глупым быть; но меня не удовлетворил ответ, что надо же и перемениться когда-нибудь, и я продолжал допрашивать:

– Для чего же это надо?

– Ведь не всегда же мы будем жить вместе, – отвечала Катенька, слегка краснея и пристально вглядываясь в спину Филиппа. – Маменька могла жить у покойницы вашей маменьки, которая была ее другом; а с графиней, которая, говорят, такая сердитая, еще, Бог знает, сойдутся ли они? Кроме того, всё-таки когда-нибудь да мы разойдемся: вы богаты – у вас есть Петровское, а мы бедные – у маменьки ничего нет.

Вы богаты – мы бедны: эти слова и понятия, связанные с ними, показались мне необыкновенно странны. Бедными по моим тогдашним понятиям могли быть только нищие и мужики, и это понятие бедности я никак не мог соединить в своем воображении с грациозной, хорошенькой Катей. Мне казалось, что Мими и Катенька, ежели всегда жили, то всегда и будут жить с нами и делить всё поровну. Иначе и быть не могло. Теперь же тысячи новых, неясных мыслей, касательно одинокого положения их, зароилось в моей голове, и мне стало так совестно, что мы богаты, а они бедны, что я покраснел и не мог решиться взглянуть на Катеньку.

«Что ж такое, что мы богаты, а они бедны? – думал я, – и каким образом из этого вытекает необходимость разлуки? Отчего ж нам не разделить поровну того, что имеем?» Но я понимал, что с Катенькой не годится говорить об этом, и какой-то практический инстинкт, в противность этим логическим размышлениям, уже говорил мне, что она права, и что неуместно бы было объяснять ей свою мысль.

– Неужели точно ты уедешь от нас? – сказал я: – как же это мы будем жить врозь?

– Что же делать, мне самой больно; только ежели это случится, я знаю, что я сделаю...

– В актрисы пойдешь.... вот глупости! – подхватил я, зная, что быть актрисой было всегда любимой мечтой ее.

– Нет, это я говорила, когда была маленькой...

– Так что же ты сделаешь?

– Пойду в монастырь и буду там жить, буду ходить в черненьком платьице, в бархатной шапочке.

Катенька заплакала.

Случалось ли вам, читатель, в известную пору жизни, вдруг замечать, что ваш взгляд на вещи совершенно изменяется, как будто все предметы, которые вы видели до тех пор, вдруг повернулись к вам другой, неизвестной еще стороной? Такого рода моральная перемена произошла во мне в первый раз, во время нашего путешествия, с которого я и считаю начало моего отрочества.

Мне в первый раз пришла в голову ясная мысль о том, что не мы одни, т. е. наше семейство, живем на свете, что не все интересы вертятся около нас, а что существует другая жизнь людей, ничего не имеющих общего с нами, не заботящихся о нас и даже не имеющих понятия о нашем существовании. Без сомнения, я и прежде знал всё это; но знал не так, как я это узнал теперь, не сознавал, не чувствовал.

Мысль переходит в убеждение только одним известным путем, часто совершенно неожиданным и особенным от путей, которые, чтобы приобрести то же убеждение, проходят другие умы. Разговор с Катенькой, сильно тронувший меня и заставивший задуматься над ее будущим положением, был для меня этим путем. Когда я глядел на деревни и города, которые мы проезжали, в которых в каждом доме жило по крайней мере такое же семейство, как наше, на женщин, детей, которые с минутным любопытством смотрели на экипаж и навсегда исчезали

из глаз, на лавочников, мужиков, которые не только не кланялись нам, как я привык видеть это в Петровском, но не удостоивали нас даже взглядом, мне в первый раз пришел в голову вопрос: что же их может занимать, ежели они нисколько не заботятся о нас? и из этого вопроса возникли другие: как и чем они живут, как воспитывают своих детей, учат ли их, пускают ли играть, как наказывают? и т. д.

ГЛАВА IV. В МОСКВЕ.

С приездом в Москву перемена моего взгляда на предметы, лица и свое отношение к ним стала еще ощутительнее.

При первом свидании с бабушкой, когда я увидел ее худое морщинистое лицо и потухшие глаза, чувство подобоострастного уважения и страха, которые я к ней испытывал, заменились состраданием; а когда она, припав лицом к голове Любочки, зарыдала так, как будто перед ее глазами был труп ее любимой дочери, даже чувством любви заменилось во мне сострадание. Мне было неловко видеть ее печаль при свидании с нами; я сознавал, что мы сами по себе ничто в ее глазах, что мы ей дороги только как воспоминание, я чувствовал, что в каждом поцелуе, которыми она покрывала мои щеки, выражалась одна мысль: ее нет, она умерла, я не увижу ее больше!

Папа, который в Москве почти совсем не занимался нами, и с вечно озабоченным лицом только к обеду приходил к нам, в черном сюртуке или фраке, – вместе с своими большими выпущенными воротничками рубашки, халатом, старостами, приказчиками, прогулками на гумно и охотой, много потерял в моих глазах. Карл Иваныч, которого бабушка называла *дядькой*, и который вдруг, Бог знает зачем, вздумал заменить свою почтенную, знакомую мне лысину рыжим париком с нитяным пробором почти по середине головы, показался мне так странен и смешон, что я удивлялся, как мог я прежде не замечать этого.

Между девочками и нами тоже появилась какая-то невидимая преграда; у них и у нас были уж свои секреты; как будто они гордились перед нами своими юбками, которые становились длиннее, а мы своими панталонами со штрипками. Мими же в первое воскресенье вышла к обеду в таком пышном платье и с такими лентами на голове, что уж сейчас видно было, что мы не в деревне, и теперь всё пойдет иначе.

ГЛАВА V. СТАРШИЙ БРАТ.

Я был только годом и несколькими месяцами моложе Володи; мы росли, учились и играли всегда вместе. Между нами не делали различия старшего и младшего; но именно около того времени, о котором я говорю, я начал понимать, что Володя не товарищ мне по годам, наклонностям и способностям. Мне даже казалось, что Володя сам сознает свое первенство и гордится им. Такое убеждение, может быть, и ложное, внушало мне самолюбие, страдавшее при каждом столкновении с ним. Он во всем стоял выше меня: в забавах, в учении, в ссорах, в умении держать себя, и всё это отдаляло меня от него и заставляло испытывать непонятные для меня моральные страдания. Ежели бы, когда Володе в первый раз сделали голландские рубашки со складками, я сказал прямо, что мне весьма досадно не иметь таких, я уверен, что мне стало бы легче и не казалось бы всякий раз, когда он оправлял воротнички, что он делает это для того только, чтобы оскорбить меня.

Меня мучило больше всего то, что Володя, как мне иногда казалось, понимал меня, но старался скрывать это.

Кто не замечал тех таинственных бессловесных отношений, проявляющихся в незаметной улыбке, движении или взгляде между людьми, живущими постоянно вместе: братьями, друзьями, мужем и женой, господином и слугой, в особенности когда люди эти не во всем откровенны между собой. Сколько не досказанных желаний, мыслей и страха – быть понятым – выражается в одном случайном взгляде, когда робко и нерешительно встречаются ваши глаза!

Но может быть меня обманывала в этом отношении моя излишняя восприимчивость и склонность к анализу; может быть, Володя совсем и не чувствовал того же, что я. Он был пылок, откровенен и непостоянен в своих увлечениях. Увлекаясь самыми разнородными предметами, он предавался им всей душой.

То вдруг на него находила страсть к картинкам: он сам принимался рисовать, покупал на все свои деньги, выпрашивал у рисовального учителя, у папа, у бабушки; то страсть к вещам, которыми он украшал свой столик, собирая их по всему дому, то страсть к романам, которые он доставал потихоньку и читал по целым дням и ночам... Я невольно увлекался его страстями; но был слишком горд, чтобы идти по его следам, и слишком молод и несамостоятелен, чтобы избрать новую дорогу. Но ничему я не завидовал столько, как счастливому, благороднооткровенному характеру Володи, особенно резко выражавшемуся в ссорах, случавшихся между нами. Я чувствовал, что он поступает хорошо, но не мог подражать ему.

Однажды, во время сильнейшего пыла его страсти к вещам, я подошел к его столу и разбил нечаянно пустой разноцветный флакончик.

– Кто тебя просил трогать мои вещи? – сказал вошедший в комнату Володя, заметив расстройство, произведенное мною в симметрии разнообразных украшений его столика: – а где флакончик? непременно ты...

– Нечаянно уронил; он и разбился, что ж за беда? – Сделай милость, никогда *не смей* прикасаться к моим вещам, – сказал он, составляя куски разбитого флакончика и с сокрушением глядя на них.

– Пожалуйста *не командуй*, – отвечал я. – Разбил, так разбил; что ж тут говорить!

И я улыбнулся, хотя мне совсем не хотелось улыбаться.

– Да, тебе ничего, а мне *чего*, – продолжал Володя, делая жест подергивания плечом, который он наследовал от папа: – разбил, да еще и смеется, этакой несносный *мальчишка*!

– Я мальчишка; а ты большой да глупый.

– Не намерен с тобой браниться, – сказал Володя, слегка отталкивая меня: – убирайся.

– Не толкайся!

– Убирайся!

– Я тебе говорю, не толкайся!

Володя взял меня за руку и хотел оттащить от стола; но я уже был раздражен до последней степени: схватил стол за ножку и опрокинул его. «Так вот же тебе!», и все фарфоровые и хрустальные украшения с дребезгом полетели на пол.

– Отвратительный мальчишка!... – закричал Володя, стараясь поддержать падающие вещи.

«Ну теперь всё кончено между нами, – думал я, выходя из комнаты: – мы на век поссорились».

До вечера мы не говорили друг с другом; я чувствовал себя виноватым, боялся взглянуть на него и целый день не мог ничем заняться; Володя, напротив, учился хорошо и, как всегда после обеда разговаривал и смеялся с девочками.

Как только учитель кончал класс, я выходил из комнаты: мне страшно, неловко и совестно было оставаться одному с братом. После вечернего класса истории, я взял тетради и направился к двери. Проходя мимо Володи, несмотря на то, что мне хотелось подойти и помирииться с ним, я надулся и старался сделать сердитое лицо. Володя в это самое время поднял голову и с чуть заметной, добродушно-насмешливой улыбкой смело посмотрел на меня. Глаза наши встретились, и я понял, что он понимает меня, и то, что я понимаю, что он понимает меня; но какое-то непреодолимое чувство заставило меня отвернуться.

– Николенька! – сказал он мне самым простым, нисколько не патетическим голосом: – полно сердиться. Извини меня, ежели я тебя обидел.

И он подал мне руку.

Как будто, поднимаясь всё выше и выше, что-то вдруг стало давить меня в груди и захватывать дыхание; но это продолжалось только одну секунду: на глазах показались слезы, и мне стало легче.

– Прости... ме...ня, Вол...дя! – сказал я, пожимая его руку.

Володя смотрел на меня однако так, как будто никак не понимал, отчего у меня слезы на глазах....

ГЛАВА VI. МАША.

Но ни одна из перемен, происшедших в моем взгляде на вещи, не была так поразительна для самого меня, как та, вследствие которой в одной из наших горничных я перестал видеть слугу женского пола, а стал видеть *женщину*, от которой могли зависеть, в некоторой степени, мое спокойствие и счастье.

С тех пор, как помню себя, помню я и Машу в нашем доме, и никогда, до случая, пережившего совершенно мой взгляд на нее, и про который я расскажу сейчас – я не обращал на нее ни малейшего внимания. Маше было лет двадцать пять, когда мне было четырнадцать; она была очень хороша; но я боюсь описывать ее, боюсь, чтобы воображение снова не представило мне обворожительный и обманчивый образ, составившийся в нем во время моей страсти. Чтобы не ошибиться, скажу только, что она была необыкновенно бела, роскошно развита и была женщина; а мне было четырнадцать лет.

В одну из тех минут, когда, с уроком в руке, занимаешься прогулкой по комнате, стараясь ступать только по одним щелям половиц, или пением какого-нибудь несообразного мотива, или размазыванием чернил по краю стола, или повторением без всякой мысли какого-нибудь изречения – одним словом, в одну из тех минут, когда ум отказывается от работы, и воображение, взяв верх, ищет впечатлений, я вышел из классной и без всякой цели спустился к площадке.

Кто-то в башмаках шел вверх по другому повороту лестницы. Разумеется мне захотелось знать, кто это, но вдруг шум шагов замолк, и я услышал голос Маши: «ну вас, что вы балуетесь, а как Мария Ивановна придет – разве хорошо будет?»

«Не придет», – шопотом сказал голос Володи, и вслед за этим что-то зашевелилось, как будто Володя хотел удержать ее.

«Ну, куда руки суете? Бесстыдник!», и Маша, с сдернутой на бок косынкой, из-под которой виднелась белая, полная шея, пробежала мимо меня.

Не могу выразить, до какой степени меня изумило это открытие, однако чувство изумления скоро уступило место сочувствия поступку Володи: меня уже не удивлял самый его поступок, но то, каким образом он постиг, что приятно так поступать. И мне невольно захотелось подражать ему.

Я по целым часам проводил иногда на площадке, без всякой мысли, с напряженным вниманием, прислушиваясь к малейшим движениям, происходившим наверху; но никогда не мог принудить себя подражать Володе, несмотря на то, что мне этого хотелось больше всего на свете. Иногда, притаившись за дверью, я с тяжелым чувством зависти и ревности слушал возню, которая поднималась в девичьей, и мне приходило в голову: каково бы было мое положение, ежели бы я пришел наверх и так же, как Володя, захотел бы поцеловать Машу? что бы я сказал с своим широким носом и торчавшими вихрами, когда бы она спросила у меня, чего мне нужно? Иногда я слышал, как Маша говорила Володе: «вот наказание! что же вы в самом деле пристали ко мне, идите отсюда, шалун этакой. . . отчего Николай Петрович никогда не ходит сюда и не дурачится. . .» Она не знала, что Николай Петрович сидит в эту минуту под лестницею и всё на свете готов отдать, чтобы только быть на месте шалуна Володи.

Я был стыдлив от природы, но стыдливость моя еще увеличивалась убеждением в моей уродливости. А я убежден, что ничто не имеет такого разительного влияния на направление человека, как наружность его, и не столько самая наружность, сколько убеждение в привлекательности или непривлекательности ее.

Я был слишком самолюбив, чтобы привыкнуть к своему положению, утешался, как лисица, уверяя себя, что виноград еще зелен, т. е. старался презирать все удовольствия, доставляемые приятной наружностью, которыми на моих глазах пользовался Володя, и которым я от

души завидовал, и напрягал все силы своего ума и воображения, чтобы находить наслаждения в гордом одиночестве.

ГЛАВА VII. ДРОБЬ.

– Боже мой, порох!... – воскликнула Мими задыхающимся от волнения голосом. – Что вы делаете? Вы хотите сжечь дом, погубить всех нас....

И с неописанным выражением твердости духа, Мими приказала всем посторониться, большими, решительными шагами подошла к рассыпанной дроби и, презирая опасность, могущую произойти от неожиданного взрыва, начала топтать ее ногами. Когда по ее мнению опасность уже миновалась, она позвала Михея и приказала ему выбросить весь этот *порох* куда-нибудь подальше или, всего лучше, в воду, и, гордо встряхивая чепцом, направилась к гостиной. «Очень хорошо за ними смотрят, нечего сказать», – проворчала она.

Когда папа пришел из флигеля, и мы вместе с ним пошли к бабушке, в комнате ее уже сидела Мими около окна и с каким-то таинственно-официальным выражением грозно смотрела мимо двери. В руке ее находилось что-то завернутое в несколько бумажек. Я догадался, что это была дробь, и что бабушке уже всё известно.

Кроме Мими, в комнате бабушки находились еще горничная Гаша, которая, как заметно было по ее гневному, покрасневшемуся лицу, была сильно расстроена, и доктор Блюменталь, маленький, рябоватый человек, который тщетно старался успокоить Гашу, делая ей глазами и головой таинственные, миротворные знаки.

Сама бабушка сидела несколько боком и раскладывала пасьянс – *Путешественник*, что всегда означало весьма неблагоприятное расположение духа.

– Как себя чувствуете нынче, татап? хорошо ли почивали? – сказал папа, почтительно целуя ее руку.

– Прекрасно, мой милый; кажется знаете, что я всегда совершенно здорова, – отвечала бабушка таким тоном, как будто вопрос папа был самый неуместный и оскорбительный вопрос. – Что ж, хотите вы мне дать чистый платок? – продолжала она, обращаясь к Гаше.

– Я вам подала, – отвечала Гаша, указывая на белый, как снег, батистовый платок, лежавший на ручке кресел.

– Возьмите эту грязную ветошку и дайте мне чистый, моя милая.

Гаша подошла к шифоньерке, выдвинула ящик и так сильно хлопнула им, что стекла задрожали в комнате. Бабушка грозно оглянулась на всех нас и продолжала пристально следить за всеми движениями горничной. Когда она подала ей, как мне показалось, тот же самый платок, бабушка сказала:

– Когда же вы мне натрете табак, моя милая?

– Время будет, так натру.

– Что вы говорите?

– Натру нынче.

– Ежели вы не хотите мне служить, моя милая, вы бы так и сказали: я бы давно вас отпустила.

– И отпустите, не заплачут, – проворчала вполголоса горничная.

В это время доктор начал было мигать ей; но она так гневно и решительно посмотрела на него, что он тотчас же потупился и занялся ключиком своих часов.

– Видите, мой милый, – сказала бабушка, обращаясь к папа, когда Гаша, продолжая ворчать, вышла из комнаты: – как со мной говорят в моем доме?

– Позвольте, татап, я сам натру вам табак, – сказал папа, приведенный, повидимому, в большое затруднение этим неожиданным обращением.

– Нет уж, благодарю вас: она ведь оттого так и груба, что знает, никто, кроме нее, не умеет стереть табак, как я люблю. Вы знаете, мой милый, – продолжала бабушка, после минутного молчания: – что ваши дети нынче чуть было дом не сожгли?

Папа с почтительным любопытством смотрел на бабушку.

– Да, они вот чем играют. Покажите им, – сказала она, обращаясь к Мими.

Папа взял в руки дробь и не мог не улыбнуться.

– Да это дробь, тапан, – сказал он: – это совсем не опасно.

– Очень вам благодарна, мой милый, что вы меня учите, только уж я стара слишком...

– Нервы, нервы! – прошептал доктор.

И папа тотчас обратился к нам:

– Где вы это взяли? и как смеее шалить такими вещами?

– Нечего их спрашивать, а надо спросить их *дядьку*, – сказала бабушка, особенно презрительно выговаривая слово *дядька*: – что он смотрит?

– Вольдемар сказал, что сам Карл Иваныч дал ему этот *порох*, – подхватила Мими.

– Ну вот видите, какой он хороший, – продолжала бабушка: – и где он, этот *дядька*, как бишь его? пошлите его сюда.

– Я его отпустил в гости, – сказал папа.

– Это не резон; он всегда должен быть здесь. Дети не мои, а ваши, и я не имею права советовать вам, потому что вы умнее меня, – продолжала бабушка: – но кажется, пора бы для них нанять гувернера, а не *дядьку*, немецкого мужика. Да, глупого мужика, который их ничему научить не может, кроме дурным манерам и тирольским песням. Очень нужно, я вас спрашиваю, детям уметь петь тирольские песни. Впрочем, *теперь* некому об этом подумать, и вы можете делать, как хотите.

Слово «теперь» значило: когда у них нет матери, и вызвало грустные воспоминания в сердце бабушки – она опустила глаза на табакерку с портретом и задумалась.

– Я давно уже думал об этом, – поспешил сказать папа: – и хотел посоветоваться с вами, тапан: не пригласить ли нам St.-Jérôme, который теперь по билетам дает им уроки?

– И прекрасно сделаешь, мой друг, – сказала бабушка уже не тем недовольным голосом, которым говорила прежде: – St.-Jérôme по крайней мере *gouverneur*, который поймет, как нужно вести *des enfants de bonne maison*,¹ а не простой *menin*, *дядька*, который годен только на то, чтобы водить их гулять.

– Я завтра же поговорю с ним, – сказал папа.

И действительно, через два дня после этого разговора, Карл Иваныч уступил свое место молодому щеголю французу.

¹ [детей из хорошей семьи.]

ГЛАВА VIII. ИСТОРИЯ КАРЛА ИВАНЫЧА.

Поздно вечером накануне того дня, в который Карл Иваныч должен был навсегда уехать от нас, он стоял в своем ваточном халате и красной шапочке подле кровати и, нагнувшись над чемоданом, тщательно укладывал в него свои вещи.

Обращение с нами Карла Иваныча в последнее время было как-то особенно сухо: он как будто избегал всяких с нами сношений. Вот и теперь, когда я вошел в комнату, он взглянул на меня исподлобья и снова принялся за дело. Я прилег на свою постель, но Карл Иваныч, прежде строго запрещающий делать это, ничего не сказал мне, и мысль, что он больше не будет ни бранить, ни останавливать нас, что ему нет теперь до нас никакого дела, живо припомнила мне предстоящую разлуку. Мне стало грустно, что он разлюбил нас, и хотелось выразить ему это чувство.

– Позвольте, я помогу вам, Карл Иваныч, – сказал я, подходя к нему.

Карл Иваныч взглянул на меня и снова отвернулся, но в беглом взгляде, который он бросил на меня, я прочел не равнодушие, которым объяснял его холодность, но искреннюю, сосредоточенную печаль.

– Бог всё видит и всё знает, и на всё Его святая воля, – сказал он, выпрямляясь во весь рост и тяжело вздыхая. – Да, Николенька, – продолжал он, заметив выражение непритворного участия, с которым я смотрел на него: – моя судьба быть несчастливым с самого моего детства и по гробовую доску. Мне всегда платили злом за добро, которое я делал людям, и моя награда не здесь, а оттуда, – сказал он, указывая на небо. – Когда б вы знали мою историю и всё, что я перенес в этой жизни!... Я был сапожник, я был солдат, я был *дезертир*, я был фабрикант, я был учитель, и теперь я нуль! и мне, как сыну Божию, некуда преклонить свою голову, – заключил он, и, закрыв глаза, опустил в свое кресло.

Заметив, что Карл Иваныч находился в том чувствительном расположении духа, в котором он, не обращая внимания на слушателей, высказывал для самого себя свои задушевные мысли, я, молча и не спуская глаз с его доброго лица, сел на кровать.

– Вы не дитя, вы можете понимать. Я вам скажу свою историю и всё, что я перенес в этой жизни. Когда-нибудь вы вспомните старого друга, который вас очень любил, дети!...

Карл Иваныч облокотился рукою о столик, стоявший подле него, понюхал табак и, закатив глаза к небу, тем особенным, мерным, горловым голосом, которым он обыкновенно диктовал нам, начал так свое повествование:

– *Я был несчастлив ишо во чрева моей матрри. Das Unglück verfolgte mich schon im Schosse meiner Mutter!* – повторил он еще с бóльшим чувством.

Так как Карл Иваныч не один раз, в одинаковом порядке, одних и тех же выражениях и с постоянно-неизменяемыми интонациями, рассказывал мне впоследствии свою историю, я надеюсь передать ее почти слово в слово; разумеется, исключая неправильности языка, о которой читатель может судить по первой фразе. Была ли это действительно его история, или произведение фантазии, родившееся во время его одинокой жизни в нашем доме, которому он и сам начал верить от частого повторения, или он только украсил фантастическими фактами действительные события своей жизни – не решил еще я до сих пор. С одной стороны, он с слишком живым чувством и методическою последовательностью, составляющими главные признаки правдоподобности, рассказывал свою историю, чтобы можно было не верить ей; с другой стороны, слишком много было поэтических красот в его истории; так что именно красоты эти вызывали сомнения.

«В жилах моих течет благородная кровь графов фон Зомерблат! In meinen Adern fließt das edle Blut des Grafen von Sommerblat! Я родился шесть недель после свадьбы. Муж моей

матери (я звал его папенька) был арендатор у графа Зомерблат. Он не мог позабыть стыда моей матери и не любил меня. У меня был маленький брат Johann и две сестры; но я был чужой в своем собственном семействе! Ich war ein Fremder in meiner eigenen Familie! Когда Johann делал глупости, папенька говорил: «с этим ребенком Карлом мне не будет минуты покоя!», меня бранили и наказывали. Когда сестры сердились между собой, папенька говорил: «Карл никогда не будет послушный мальчик!», меня бранили и наказывали. Одна моя добрая маменька любила и ласкала меня. Часто она говорила мне: «Карл! подите сюда в мою комнату», и она потихоньку целовала меня. «Бедный, бедный Карл! – сказала она, – никто тебя не любит, но я ни на кого тебя не променяю. Об одном тебя просит твоя маменька – говорила она мне: – учись хорошенько и будь всегда честным человеком, Бог не оставит тебя! Trachte nur ein ehrlicher Deutscher zu werden – sagte sie – und der liebe Gott wird dich nicht verlassen!» И я старался. Когда мне минуло четырнадцать лет, и я мог идти к причастию, моя маменька сказала моему папеньке: «Карл стал большой мальчик, Густав; что мы будем с ним делать?» И папенька сказал: «я не знаю». Тогда маменька сказала: «отдадим его в город к г. Шульц, пускай он будет сапожник!», и папенька сказал «хорошо», und mein Vater sagte «gut». Шесть лет и семь месяцев я жил в городе у сапожного мастера, и хозяин любил меня. Он сказал: «Карл хороший работник, и скоро он будет моим Geselle!»,² но... человек предполагает, а Бог располагает... в 1796 году была назначена Conscription,³ и все, кто мог служить, от восемнадцати до двадцать первого года должны были собраться в город.

«Папенька и брат Johann приехали в город, и мы вместе пошли бросить Loos,⁴ кому быть Soldat и кому не быть Soldat. Johann вытащил дурной номеро – он должен быть Soldat, я вытащил хороший номеро – я не должен быть Soldat. И папенька сказал: «у меня был один сын, и с тем я должен расстаться! Ich hatte einen einzigen Sohn und von diesem muss ich mich trennen!»

«Я взял его за руку и сказал: «зачем вы сказали так, папенька? Пойдемте со мной, я вам скажу что-нибудь». И папенька пошел. Папенька пошел, и мы сели в трактир за маленький столик. «Дайте нам пару Bierkrug»,⁵ – я сказал, и нам принесли. Мы выпили по стаканчик, и брат Johann тоже выпил.

« – Папенька! – я сказал: – не говорите так, что «у вас был один сын, и вы с тем должны расстаться», у меня сердце хочет *выпрыгнуть*, когда я *этого* слышу. Брат Johann не будет слушать – я буду Soldat!.. Карл здесь никому не нужен, и Карл будет Soldat.

« – Вы честный человек, Карл Иваныч! – сказал мне папенька и поцеловал меня. – Du bist ein braver Bursche! – sagte mir mein Vater und küsste mich.

«И я был Soldat!»

² [подмастерьем!]

³ [рекрутский набор,]

⁴ [жребий,]

⁵ [кружек пива,]

ГЛАВА IX. ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРЕДЫДУЩЕЙ.

«Тогда было страшное время, Николенька, – продолжал Карл Иваныч, – тогда был Наполеон. Он хотел завоевать Германию, и мы защищали свое отечество до последней капли крови! und wir vertheidigten unser Vaterland bis auf den letzten Tropfen Blut!

«Я был под Ульм, я был под Аустерлиц! я был под Ваграм! ich war bei Wagram!»

– Неужели вы тоже воевали? – спросил я, с удивлением глядя на него. – Неужели вы тоже убивали людей?

Карл Иваныч тотчас же успокоил меня на этот счет.

«Один раз французский Grenadir отстал от своих и упал на дороге. Я прибежал с ружьем и хотел проколоть его, aber der Franzose warf sein Gewehr und rief pardon,⁶ и я пустил его!

«Под Ваграм Наполеон загнал нас на остров и окружил так, что никуда не было спасенья. Трое суток у нас не было провианта, и мы стояли в воде по коленки. Злодей Наполеон не брал и не пускал нас! und der Bösewicht Napoleon wollte uns nicht gefangen nehmen und auch nicht freilassen!

⁶ [но француз бросил свое ружье и запросил пардону,]

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.